



Веч. Москва - 1994 - 17 окт. - с. 6.

ВИКТОР АСТАФЬЕВ

«Есть за что нам пороть друг друга»

Вопросы моего постоянного корреспондента и критика из подмосковного города Яхромы Бориса Никитина во многом совпадают с теми вопросами, которые я задаю сам себе каждый день, иначе и не стал бы тратить время на празднословие, кое, как и в годы нигилизма в конце XIX века, захлестнуло Россию, «незаметно» перешло в блудословие, а блудословие — это та опара, на которой киснет, вызревая, тесто всяческих бунтов, смут и революций...

О прошлом

— Сложнее ли стало жить и работать в нынешнее смутное время, Виктор Петрович?

— И жить, и работать стало настолько же легче, проще, содержательней, насколько сложнее и труднее стало жить свободному человеку.

Свободному?

— А какому же? Ведь каждый теперь сам волен распоряжаться самим собой, временем своим, помыслами и замыслами. Он самостоятельно старается зарабатывать на жизнь, не дожидаясь, когда благодетели (как это было при советской власти) вырешат ему унизительную пайку в виде куска хлеба или гонорара, от которых ноги не протянешь, но и не орезавешь.

— Что же тогда эти свободные люди (особенно вашего поколения) митингуют на всевозможных собраниях?

— Да ответ-то проще простого: им прежде ни дыхнуть, ни охнуть не дозволялось, всякое неподчинение, слушание каралось тюрьмой, лагерем, высылкой, а то и смертью. А тут вдруг полная вседозволенность — выходи, ори чего хочешь, критикуй порядки, властей не признавай... Вот задним числом и мстит всем вчерашний раб, всем, начиная от Сталина и кончая Ельциным. Ну, Сталина-то не очень, его все же немного еще боятся, а Ельцина можно крыть как хочешь, плевать на него, материть даже за себя униженного, растоптанного и ограбленного.

— Но ведь они требуют возвращения в социализм...

— Вернуться туда, в «прекрасное» прошлое к Сталину и Хрущеву, хотя только бывшие вохровцы и прочие ублюдки. Солдаты-окопники не очень-то стремятся обратно в окопы, эски — в лагерь, а рабочие — на табельные производства, где на каждого было по два стукача из КГБ — там не забалуешься, направят и укажут куда надо следовать. Назад хотят те, кто совсем из ума выжил, или те, кому тогда сладко жилось, ну еще и те, про кого великий поэт еще в прошлом веке сказал:

«Люди холопского звания —
Сущие псы иногда:
Чем тяжелей наказания,
Тем им милей господя».

Этим нравится спокойное житье дворянги: сиди на цепи, грызи кость и не мыржай или хрюкай, роясь в корыте общепита, потом околевай бесплатно в нищенских казенных больницах и приютах, изгнивай в бараках, а если шибко повезет — в пятиэтажных хрущобах.

— А ваше-то как здоровье, Виктор Петрович?

— Здоровье для моего возраста, наверное, еще подходящее — раз работаю, пишу и в голове возникают новые замыслы. Уставать, правда, стал быстрее, и старые раны, которых что-то много накопилось, стали болеть сильнее. Вот и слух стремительно «садится» — это результат напряженнейшей работы во фронтовой полевой связи. До недавнего времени я после первого же разговора с человеком узнавал его голос по телефону и шибко удивлял этим людей. А «феномен» очень прост, и я с гонором говорю, что, если б его, человека со мной разговаривающего, столько же пинали под задницу и били телефонной трубкой по голове, как меня, он бы тоже сразу начал заминать голос, ибо нельзя в бою спутать цифры, допустим 55 и 65; снаряды или уйдут дальше или попадут по своим. Наш молодой командир дивизиона выгнал всех связистов, оставив при себе понятливых «слушачей» — меня и моего напарника. Мы сутки делили надвое, жили и работали в постоянном напряжении, получая за это матюки, пинки и нагоняи. Вот отчего гложет полевой связист.

Но старые фронтовые хвори и воспоминания наталкивают меня на мысль назвать третью книгу романа «Прокляты и убиты» — «Болят старые раны». Так что не бывает худа без добра и добра без худа. Пока это одно из рабочих названий книги, а там уж видно будет: куда перо выведет!

О книжниках и фарисеях

— У всех еще на памяти ваша полемика с покойным Эйдеманом. Вы не отказываетесь сегодня от своих тогдашних суждений?

— Натан Яковлевич обиделся тогда на меня за «еврейчонков». А ведь я говорил о русской

культуре. О показной и подлинной внутренней культуре людей. Какова одна из главных причин, за которую не только в России, но и во всем мире не любят евреев? Не в последнюю очередь и такая: уж если он, еврей, еврейчонек, вечером услышал, увидел или вычитал что-то оригинальное, новое или умное, а тем паче заумное да еще и запомнил при этом имя редкого автора — допустим, Сальвадора Дали, Джойса, Борхеса, Кафку, — утром непременно известит об этом всех окружающих. Если же на выставке, на концерте, в книге ему что-то не поглянулось — он тут же (коли обстановку позволяет) громко высказывает свое отрицательное мнение, дабы хоть как-то обратиться на себя внимание, навязать свое понимание людям. Если же на людях высказаться невозможно, тогда хоть под лестницей в коридоре, на кухне или в курилке будет уминать, горлопанивать, спорить, не затрудняя себя усилием вынуть и понять, дойти-пониманию до другого, иначе выдающего, думающего и живущего. Безапелляционность тона, этакая избранность, высокое самонимие — все это обратная сторона простой ничитанности, вершущихся, — кстати, самых легких — знаний... Куда там скромные Сократу с его знаменитым «...ничего не знаю!» Чтобы так сказать — в какие глубины надо заглянуть? А «знаю» — это же демагогия, корыстное желание подать себя... Ах как у нас распространился этот неумиримый тип неуча-краснобая! Книжники, фарисеи...

О Солженицыне

— Как вы относитесь к творчеству и личности Александра Солженицына?

— В первое же утро своего пребывания в Красноярске Александр Исаевич приехал ко мне в Овсянку и пробыл здесь, сколько ему позволило время. Мы, не заметив того, проговорили около трех часов «без свидетелей». Солженицын в отличие от меня умеет ценить себя и свое время, поэтому жестко отменяет праздную и любопытствующую публику. Самое главное, что уже минут через десять я чувствовал себя свободно в общении с гостем, помня, конечно, и о его возрасте и о более сложном жизненном опыте. Совместимость — это важнейший признак большой внутренней культуры человека, какой бы он возраст и авторитет ни имел.

Для меня отныне несомненно, что Александр Исаевич Солженицын является одной из самых выдающихся личностей и крупнейшим писателем современности, а в жизни и общении — просто компанейский человек.

Я заинтересовался у Александра Исаевича «насчет рюмахи», и он без жеманства объявил: «За обедом одну еще приемлю, а сейчас извините: впереди рабочий день».

— А ребята, — спрашиваю, — парни-то как?

— Ну как? Они же у меня русские парни-то, и все русское им не чуждо.

Под конец встречи произошла у нас любопытная сценка. Александр Исаевич пообещал прислать мне литературный словарь (там что-то и из моих книг выписано), и я подал ему модную сейчас «визитку», которые мне отпечатали перед прошлогодней поездкой за границу. А мне нужно было — так договорились с ним — послать в его «мемуарную библиотеку» рукописей — воспоминаний фронтовиков, скопившихся у меня в архиве. И Солженицын записал свой адрес на листке бумаги — никаки визиток у него нет и, думаю, не бывало. Ничего наносного, неестественного, чужого с собой в Россию Александр Исаевич не привез. Более того, я сделал вывод, что он как русский человек и писатель «там», в так назы-

ваемом свободном мире, сохранился лучше в смысле прочности характера, физического и духовного здоровья, куда как крепче и прочнее стоит на земле, чувствует себя и время острее и яснее, чем мы — сыны соцреализма.

— Что из написанного вами читал Солженицын?

— Насчет своих книг я, естественно, его не спрашивал, но из разговора понял, что он читал мои рассказы, в частности «Людочку», и хорошо знает книгу «Затесей». Попутно сделал он мне замечание, что раз эти самые «затеси» вне жанра, то и не надо их пытаться превращать в рассказы. Александр Исаевич не знает, что порой «затеси» в процессе работы перерастают, развертываются и сама собой превращаются в рассказ. Половина, если не больше моих крупных по размеру рассказов, в том числе и «Ода русскому огороду», да и та же «Людочка», выросли из наметок и замыслов «Затесей».

— Можно ли Солженицына за его ранние произведения отнести к зачинателям «деревенской прозы»?

— Я не думаю, что «деревенская проза» началась с Солженицына. По-моему, русскими «деревенщиками» были и Пушкин, и Гоголь, и Аксаков, и Тургенев, и Некрасов... А каким тонким «деревенщиком» был интеллигентнейший Бунин! А то, что великий рассказ Солженицына «Матренин двор» оказал определенное влияние на развитие современной деревенской прозы, в том числе и на мою, — вне всякого сомнения...

— По каким вопросам касательно обустройства России вы согласны с Солженицыным, а по каким не согласны?

— Об устройстве России говорить нам всем и не переговорить, но лучше бы все же работать каждому на своем месте и как можно усердней и профессиональней. Нас губила и губит полуробота, полуслужба, полунинтелигентность, полуобразованность, полу, полу...

О своем поколении

— Не сожалевте, что когда-то не смогли или не захотели стать крутым диссидентом, ну хотя бы ради всемирной популярности и политической влиятельности?

— Я не мог стать диссидентом ни ради «популярности», ни просто так, потому как не готов был стать таковым: семья была большая, следовательно, мера храбрости малая. Да и внутренней готовности, то есть той же культуры и некоей опять же внутренней раскованности (которая, впрочем, у диссидентов со временем «незаметно» перешла в разнузданность, в самовосхваление, а у кого и в непристойности) — не хватало мне, но более всего не хватало духовного начала, которое одно

ую любовь к его творчеству. Меня николи не охватывала зависть к его литературно-киношной удачливости, умению «наживать деньги»: что давало ему возможность хотя бы материально жить независимо. И никакой художественной зависимости или духовной я от Нагибина не испытывал, а вот работоспособности его дивился и долгое время он оставался для меня лучшим рассказчиком в стране, умным собеседником, обаятельным выпивохой и просто моим современником, всегда неизменно желавшим мне добра и чистосердечно радуящимся моему творческому успеху, если такового снисходил на меня. Его последний рассказ «Бунташный остров» я считаю шедевром современной новеллистики. Так вот, только так, беспощадно и проникновенно, надо писать о прошедшей войне, о преступлении вождя и партии против тех, кто спас им шкуру; писать, чтобы те, кому нынче хочется похвастать «за свободу и независимость», задумались о том, что их ждет после победы, задумались еще до того, как умоют друг друга кровью и размажут по лицу своему слезы и сопля, как это случилось с нами, изуверченными войной, солдатами.

О Леонове

— Несколько слов и о Леониде Леонове, о котором за его долгую жизнь, кажется, уже все сказано...

— О Леониде Леонове действительно вроде бы уже все сказано, да не все, и не весь он понят и доподлинно истолкован современниками, плотно его втиснувшими в ряды соцреалистов, откуда он тихо, но настойчиво выступал. На похоронах писателя, знаменующий собою целую эпоху, надо народу совсем неустого, достойного люду и вовсе жидко. У гроба, в почетном карауле, стояли все больше не писатели, а «инженеры человеческих душ», в последние годы плотно окружившие одинокого старика и изрядно заморочившие ему голову. Впрочем, заморочившие ли? В последнюю нашу людную встречу на квартире писателя лет тому пять-шесть назад, уловив минуту, Леонид Максимович, явно опасаясь гостей, сказал мне вполголоса: «Держитесь подальше от этих людей...»

О России

— Если бы к вам обратились, что бы вы посоветовали нашему правительству или Президенту?

— Не мое это дело чего-либо советовать правительству и Президенту, пусть у каждого болит голова о своем деле. «Указчику говна за щеку», — говорят в моем родном селе. Именно по этой причине еще при Горбачеве я отказался от почетных мест в руководящих органах, отказался быть советником и у нынешнего Президента, равно как и фрейлиной ездить в правительственных делегациях.

— Как живет-дышит провинциальная Россия? Выживет ли?

— Как живет-дышит? Разговор отдельный и длинный. Выживет ли? Хотелось бы, чтоб выжила, дай того Бог, но вот готова ли Россия строить самое себя по ее и богоугодному велению? В этом я не уверен, хотя и вижу ростки, пробивающие бетон и грязь большевистского наследства. Да вон сосед мой, посевший еще в молодости от пьянства, бьет свою девятнадцатилетнюю мать, отбирает у нее пенсию на пропой. Вчера я ходил слышать старуху от побоев — никто уже на ее крики не отзывается. А потом гляжу — мимо окон, опираясь на батожок, идет сама бабка Маня, ко вылет не то в сельсовет — жаловаться на сына, не то его, задропавшего, ищет, плача: «Убили, однако, мово сыночка, убили...». Вот тут и разберись, что к чему и помоги этому наряду и стране нашей замордованной, замороченной... Мы с вами национал патриоты придут сюда и помогут? Они здорово знают, как это делается. На словах, правда, а я вот не знаю. Отправался от народа», как заявил в газете «Правда» мой недавний друг по каторге, то бишь по литературному труду. Я бы и рад оторваться от него, забиться, да не получается — народ-то этот вот мне и я в нем, и крестили нас с соседом в одной церкви, пусть и сведенной с земли большевиками, и горе одно мыкали и мыкаем, и погибали на войне вместе, и о спасении себя и России молились нам вместе — русские мы люди со всеми вытекающими из этого последствиями... А патриоты наши, от фамилий которых так терпко веет ближним зарубежом: Емельяненко, Сидоренко, Пашенко, Бондаренко, Дорошенко — ловко умеют наставить народ на «истинно верный путь» (прямо-таки ленинский), и самому правительству с Думой указать на сплошные недостатки, а уж Президента-то они не печатно и печатно кричат везде и всюду, потому как сам разрешает и можно ничего и никого не бояться. Свобода! Свобода, мать-перемать!

— Ваше отношение к смертной казни в России?

— Сердобольный наш Президент по существу уже отменил смертную казнь, заменив ее самым кровавым преступникам пожизненным тюремным заключением, а вот порку ввести забыл. А надо бы. Чтоб каждое утро перед парадными дверями главного Красноярского, допустим, административного здания, под любимым советским народом Марш энтузиастов, на центральной площади возле памятника Ленину, на удобном его постаменте бабы пороли бы мужиков — за пьянство, за потерю мужского облика и достоинства, за разгильдяйство, за брошенные детей, за пропиту попку, за матерщину, за нежелание рожать, вести дом, хозяйство, за бросание детей, как ценят, за курево, алкоголь, за непочтение мужа своего, за политическую болтовню, за... Продолжайте дальше — есть, есть за что нам пороть друг друга, и уверяю вас, сразу порядок восторжествует. Не зря же Смердяков у Достоевского уверял, что порядок в России будет до тех пор, пока будет чем пороть российского гражданина, а пока растет на берегах ива, лоза и другие прутьяные деревья...

О литературе

— Виктор Петрович, что прочитали интересного в последнее время?

— Я открыл для себя не просто интересных, но и серьезных современных писателей: петербуржца Михаила Кураева и тоже петербуржца, но уже покойного — Сергея Довлатова. С восторгом прочел в «Новом мире» «Казенную сказку» Олега Павлова и с чувством редкого художественного открытия «Плач красной суки» Инги Петкевич. Правда, дерзкое это произведение с предрезким, но точным названием наш вежливейший, шибко своей субкультурой дорожащий журнал, одурев плессированную юбочку, переименовал соответствующим своему духу в «Свободное падение». Ну что ж, лишнее доказательство тому, что падение, да еще свободное, нам всем свойственно, а вот взлет...

Но не спешите горько вздыхать. В журнал роман этот принес член его редколлегии писатель Андрей Битов. Из этого — ничего бы. Ну принес и прочит, случается. Но Инга-то Петкевич-то — бывшая жена Битова. И это бы тоже ничего. Но зная вкус, образованность и начитанность Битова, я думаю не мог он не заметить, что проза его бывшей жены (как бы это поделкативно сказать? Да Бог с ней, с деликатностью!) покрепче прозы самого Битова. Поэтому и принес рукопись бывшей жены бывшего мужа? Если так, значит, в литературе нашей современной не все исподличались. Значит... Значит, еще можно и нужно жить, честно работать и надеяться на лучшее.

Беседавал Борис НИКИТИН.

Концерт «Вечерняя Москва» представляет: «Вечерний клуб»